

Василь Быков

Мертвым не больно

Глава первая

Звонит телефон, и она берет трубку.

Мы враз притихаем. Навалившись на отполированный, широкий, точно прилавок, барьер, мы с нетерпением ждем ее слова, которое должно либо разочаровать нас, либо обрадовать. Вообще-то мы готовы ко всему, было бы только что-то окончательное. Хуже всего в жизни – неопределенность: она отнимает волю к действию. Но женщина, словно избегая того и другого, озабоченно хмурит тонкие подведенные брови. Минута внимания, торопливые отметки в бланках, что лежат перед ней на стекле, скупые профессиональные вопросы кажутся необыкновенно долгими. Наконец она отрывает от уха трубку.

– Товарищи, мест нет.

Над барьером – трудный, продолжительный вздох, разрозненные движения уставших от долгого стояния людей.

– И не будет?

– Не могу сказать.

Снова неопределенность? Жаль.

А гостиница добротная. Считаю, в самом центре. С одно-, двухместными номерами. Белокафельными ваннами. Зеркальной желтизной паркета. Царской ширины кроватями в номерах. В длинных, на целую улицу, коридорах такие же длинные мягкие дорожки. Между этажами снуют быстроходные лифты. Вежливые тети-горничные первыми здороваются с постояльцами. Такое запоминается. Особенно провинциалу, который раз в год попадает сюда по делам службы. Правда, немного пугает цена, к командировочным приходится добавлять из своего кармана. Но изредка это можно себе позволить. Тем более в годовщину Победы. К тому же выбирать не приходится – в других гостиницах давно уже ни одного места.

Вот только это ожидание...

Напротив за круглым столом освобождается стул (кто-то не выдержал), и я вылезаю из очереди. Лысый, сутуловатый человек с «Известиями» делает за мной шаг вперед. Он побережет место, а мне уж невмоготу: ноет нога. Мой мучитель – протез – с первого же шага противно скрипит. Сосед сзади опускает газету. «Молодой, а гляди ты! Калека...» – наверняка думает он. Я отлично угадываю слова и мысли, которые возникают у людей при виде моего увечья, и мне это, признаться, довольно-таки осточертело. К своей

незавидной судьбе я уже привык. Правда, за двадцать лет бывало всякое. Случалось, и мучился. В самом деле, еще подмывало припустить за мячом, как стал инвалидом.

Стараюсь ступать как можно ровнее. Кажется, получается лучше, во всяком случае тише. Но скользкий паркет выдает мою скованность, и опять – приглушенный скрип протеза. Жуликоватый на вид мастер, который его ремонтировал сегодня, говорил, что «притрется». Но вот не «притирается». За столом молодой парень в таком же пестром, как и на мне, пиджаке уважительно подбирает ноги.

– А вы бы ей документы показали. Зачем торчать в этой очереди?

Как всегда, от чужого сочувствия становится немного не по себе, и я бормочу что-то виновато-неразборчивое.

– Должны найти. Неужто для инвалида войны не найдут одного места? – говорит он и, нахмурившись, начинает приводить в порядок ногти.

Я не очень ловко опускаюсь на стул. И откуда ему известно, что я – инвалид войны? А может, несчастный случай? Нарушение правил техники безопасности? Хотя, конечно, выдает возраст...

Парень между тем держит себя так, будто больше меня не замечает. Все его эмоции скрыты под маской холодной сдержанности. Но я

чувствую: ко мне он дружелюбен, только маскирует это свое чувство, так же как и любопытство. Почему-то в отношениях между мужчинами так принято, будто выдать свое расположение – слабость.

А мне он чем-то положительно нравится. Может, именно вот этой замкнутостью, которая всегда заставляет предполагать серьезность и независимость характера. Хотя молодости, пожалуй, больше импонирует искренность. Серьезность и характер приходят с годами, а у молодых подкупает открытость. У этого же сосредоточенное, не очень располагающее к себе лицо. Аккуратная свежая «канадка». На лацкане однобортного пиджака синий эмалевый ромбик. Ясно, технический вуз. Видно, какой-нибудь инженер, приехал издалека по делам производства. Дома молодая жена, ребенок, малогабаритная квартира где-нибудь на верхнем этаже в новом квартале. И, понятное дело, самая интересная в мире отрасль – электроника или радиотехника. Теперь это сфера увлечения многих. К сожалению, мы в таком возрасте занимались другим, потому и остались, по существу, недоучками. Хотя ничего не поделаешь: время было иное. Каждый мужчина мерил свою ценность солдатскою меркой. Артиллерия, танки, авиация – думалось, это надолго, если не на всю жизнь. Но война порешила

иначе. Сколько она отняла сил, засушила талантов. И вот результат – сельский культпросветработник. Сорок рублей зарплата.

Парень замечает мой взгляд и мое затаенное к нему любопытство. Дальше молчать нам уж просто неловко. Он вынимает из кармана пачку «Шипки» и привычным жестом протягивает ее мне:

– Курите?

– Нет, спасибо.

– Бросили или не начинали?

– Когда-то начинал, да помешало ранение.

В секундном недоумении он поглядывает на мои ноги, затем более продолжительным взглядом окидывает борты пиджака. Я его понимаю без слов: какая может быть связь между ранением и куревом? Но стоит ли упоминать еще и о ранении в грудь, которое чуть не окончилось для меня финалом? К тому же парень, наверно, ожидал увидеть на пиджаке орденские планки. Конечно, он человек образованный, кое-что читал про войну и, пожалуй, готов видеть во мне героя. Но оттого, что уже надоело объяснять все это, теперь я молчу. Парень прикуривает сигарету и круто поворачивается на стуле. Возле администратора начинается оживление. Не появились ли вдруг места?

Нет, кажется, тревога напрасная. В очередь пробует влезть какой-то простодушный дядька. Он в новой стеганке, с огромным чемоданом-сундуком

и полной сеткой батонов. Наверное, из деревни. Становится в хвост очереди дядька не хочет и плечом и локтем пробует втиснуться между толстяком с пакетом под мышкой и человеком в кожаной куртке. Толстяк с опозданием поднимает тревогу:

– Куда лезете? Куда лезете? Вы где стояли?

– Ну стоял. Ну! А как же, если бы не стоял!

Стоял. Что я, врать буду?

– Где, покажите, где вы стояли?

Дядька, видно по всему, нигде не стоял, но он во что бы то ни стало хочет занять место поближе к администратору. К тому же он успел уже просунуть между людьми руку и вцепиться в никелированный бортик барьера. Теперь дядьку не сдвинуть. Многотерпеливой очереди это, ясное дело, не нравится, и она множеством глаз молчаливо осуждает нарушителя гостиничной этики. Из-за барьера в конфликт уверенно вступает администраторша.

– Дядька, а паспорт у вас есть? – искушенно бьет она в его самое уязвимое место.

Дядька растерянно переспрашивает:

– Кого?

– Паспорт! Паспорт, говорю, у вас есть?

Должно быть, понимая всю сложность своего положения, дядька старается выиграть время. Мнется, дергает плечом, лезет зачем-то в карман,

сдвигает на затылок черную кепку. Но очередь ждет, и отвечать, хочешь не хочешь, надо.

– Паспорт? Да это самое... Какой паспорт? Паспорта нету.

– А что же вы лезете? У нас строгий паспортный режим. Мы вас не можем поселить без паспорта.

Дядька внимательно выслушивает женщину. Голос администраторши незлобивый, с нотками сочувствия, обмана не должно быть, и дядьку это повергает в смущение. На морщинистом лбу его бисером выступает пот. Минуту дядька раздумывает, но руки от барьера не отнимает. На всякий случай.

– Вам же русским языком объяснили! – нервничает толстяк. – Вы что, не понимаете? Это хамство, в конце концов.

Однако действительно похоже, что дядька не понимает или, может, не хочет понять. Тогда из очереди к нему выскакивает вертлявый, разбитной с виду человек. Всепонимающим взглядом гостиничного старожилы он бегло окидывает дядьку. Черный плащ на его плечах шуршит, как жестяной.

– Я сейчас ему разьясню. А ну, гражданин, чуток в сторонку, чтоб не мешать и так далее. Куда вы встречаете? Вы понимаете? Вы что же себе думаете? А вон, гляньте, милиция. Да не туда

смотрите – вон, возле швейцара. Видите? Ну вот! Стоит доложить и... Понятно?

Дядька озабоченно посматривает то на человека в плаще, то на милиционера у входа и начинает оправдываться:

– Да я что?.. Я ничего. Думал...

– А вы не думайте! Вы выполняйте. Порядок положено выполнять. За нарушение порядка – уголовная ответственность. А как же вы думали?

Очередь снисходительно наблюдает за говоруном и дядькой. Это забавляет. Некоторые про себя улыбаются. Ишь, «заливает»! «Заливает» действительно неплохо. Видно, опытный спец по такого рода делам, так как дядька вскоре, оглядываясь, боком подается к выходу.

– Дремучий народ! – пожимает плечом человек и облакачивается на барьер. – Так и норовит обойти закон.

– Законник! – язвительно проговаривает мой сосед и вытягивает под столом ноги.

«Законник» откровенно плутовским взглядом снизу вверх окидывает администраторшу и налегает на барьер. Через минуту он уже сыплет там шутками. И все у него получается легко и просто. Со стороны кажется: весельчак-человек! Не то что остальные, в дремотном ожидании понуро стоящие возле барьера.

Мой сосед, однако, придерживается иного

мнения.

– Развелось паразитов... Думаете, он так себе увивается? Тоже хочет без очереди влезть. Разве не видно?

Кто его знает? Возможно, и так. Минуту я наблюдаю, как он распинается перед администраторшей. Но очередь молчит, ничего плохого не подозревая, и я отворачиваюсь.

Сосед откидывается на спинку стула.

– Приспособились, как микробы к антибиотикам. Ни уголовным кодексом, ни дружинниками, ни милицией – ничем их не проймешь.

Это, конечно, верно. Но мне как-то неловко хаять человека, которого совсем не знаешь. Парень подвигается на угол стола.

– Скажите, вот вы воевали. Неужто так же было? Или там все-таки по-другому с ними обращались?

Да, видно, на войне было несколько проще. Подлость там более заметна. Перед смертью, ясное дело, маскироваться труднее. Но такого рода типы приспособлялись и на войне. Парень с легким недоверием выслушивает меня, вздыхает и вдруг окончательно сбрасывает с себя маску отчужденности.

– И все же я завидую вам.

Это у него вырывается по-мальчишески

просто и так естественно, что не оставляет никакого сомнения в искренности. И хотя я уже не первый раз слышу подобное, все же не могу не удивиться: чему люди завидуют? Знают ли они то, о чем говорят? Парень коротко поясняет:

– Вы если на что решались, так без оглядки. Не кривя душой. Если уж били, то размахнувшись – и до обуха!

Отчасти так, но на деле все было сложнее. На войне не слишком лицемерили, это правда. Но ударить на полный взмах не всегда удавалось. Были причины, которые придерживали за руку. Мой сосед курит, сквозь дым выжидательно поглядывает на меня. Я же молчу. Видно, надо ответить. Но одной фразой не обойтись. Нужен долгий разговор, который тут не к месту.

Глава вторая

В вестибюле приглушенный говор, стук дверей, то и дело доносится грохот машин с улицы. По ту сторону большущего окна безостановочно снуют люди. К вечеру на дворе потеплело. Унялся ветер. После долгих дождей распогодилось, подсохли тротуары. Кажется, началась несколько запоздавшая, но оттого еще более желанная весна.

Но вот в гостиничную суету врываются нездешние голоса – незнакомые слова, чужой

напевный акцент. Несдержанный женский смех многих заставляет оглянуться. Толпа туристов, неторопливо вливаясь сквозь двери, заполняет просторный вестибюль. У подъезда за стеклянными дверями высится огромный, в эмали и никеле, заграничный автобус.

Возле барьера умолкают разговоры, лица поворачиваются к входу. Туристы не спеша, степенно и даже с какой-то ленцой вносят свои сумки, чемоданы, пледы. Усердствуют швейцары. На середине вестибюля, возле колонны, складывается багаж – целая гора из чемоданов. Мой сосед определяет:

– Французы! Нет, итальянцы! Хотите посмотреть?

Предусмотрительно оставив на стульях газеты, мы встаем и подходим к ним ближе. Туристы на нас не обращают никакого внимания. Они преисполнены собственных впечатлений. Изящные женщины в брюках и клешах и все в туфлях на острых шпильках смеются и курят. Роскошные черные, светлые, рыжие прически. Ярко окрашенные губы. Чернявые плечистые мужчины великодушно сдержанны, как мудрецы среди строптивых кокеток. Что ж – у них праздник: поездка, новая страна, про которую они столько слышаны и теперь только ее увидели. Озабоченность и суету будней они оставили дома.

Завидная черта характера – отграничивать будни от праздников, беспокойство от радости. У нас, к сожалению, так не получается. Видно, в нашей истории слишком много такого, о чем не просто забыть. И потому даже в годовщину Победы печать пережитого незримо лежит на нашем настроении.

Мы молча стоим возле гардероба. Мой сосед с любопытством всматривается в лица иностранцев. Это интересно – постигать скрытый смысл характеров. Но я и не пытаюсь. Французы, англичане, итальянцы для меня – закрытая книга. Их сущность где-то вне сферы моего понимания. Другое дело – немцы. С немцами мы пережили общее несчастье. Они нам причинили немало горя, но мы незлобивы: пусть живут на здоровье. Главное, чтоб в мире. За прошлое, сдается, мы расквитались.

Однако мы зазевались. Пока туристы толпились в ожидании чего-то, мимо нас быстрым шагом проходят один, другой – от барьера. В руках – знакомые бланки пропусков, кажется, появились места. Я круто оборачиваюсь назад и едва не сталкиваюсь с «законником». Он обдаёт меня жестяным шуршанием плаща и бежит к лифту. На лице озабоченность. Маску оживления и легкости он уже сбросил за ненадобностью. Я удивляюсь:

– Смотри, отхватил?

Парень иронически хмыкает:

– Ну! Я же говорил.

Мы подбегаем к очереди и конечно же опаздываем. Мест нашлось только четыре, и все они розданы. Четверо счастливиц уже на этажах. В том числе и тот, без очереди.

Остальным опять ждать.

Одно место за столом пусто. На моем же сидит усталая с виду немолодая женщина. Сосед, неловко потоптавшись, молча отходит к барьеру. Я опускаюсь на его стул.

Очередь возмущается. Особенно теперь, когда «законника» уже и след простыл. Когда он уже располагается в номере. А они спорят. Странные люди! Когда же он лез к администраторше, тогда все молчали, а теперь размахались руками.

– Безобразие!

– В книгу жалоб им записать!

– Хамство!

Особенно возмущается один. Кажется, ему едва не перепало место. Теперь он, надвинув на лоб зеленую велюровую шляпу, сердито топчется возле барьера. Длинные полы его легкого пальто широко распахнуты.

– Возмутительная наглость!

Сунув руки в карманы, он нервозно поворачивается от барьера и бросает на меня невидящий взгляд. И вдруг у меня перед глазами вздрагивает и расплывается горячий, знойный

туман. Тугой колокольный удар в ушах миготом отбрасывает меня в прошлое. В смятенном сознании вспыхивает одно только слово – «Сахно». Нет, я не вспомнил этого человека, просто я никогда о нем не забывал. И теперь вот он – в пяти шагах от меня. Несколько обрюзгший с лица, бровастый и по-прежнему угрожающе-решительный. На голове небрежно надета шляпа. Китайское габардиновое пальто не застегнуто и низко свисает полами. На желтых ботинках лежат светлые обшлага брюк. «Широковаты», – замечаю я совершенно некстати. Окинув меня бессмысленным взглядом, он как ни в чем не бывало поворачивается к барьеру.

Мое вдруг напрягшееся тело расслабляется, и я съезживаюсь на стуле. Какой-то контролируемой частью сознания отмечаю, что растерялся. Никогда не думал, что так можно спасовать перед ним. Впрочем, я совершенно иначе представлял себе нашу с ним встречу. У меня на такой случай были приготовлены полные гнева слова, и вот – на тебе! Если бы он теперь подошел и ударил меня, пожалуй, я не нашелся бы, как ответить. Бывает, что наглость парализует. Теперь меня парализовал один вид этого человека.

Однако я все же овладеваю собой и в следующую минуту поднимаюсь со стула. Проклятый протез! Теперь он мешает. Теперь мне

нужны железные ноги и стальные кулаки. Видно, на моем лице отражается что-то недоброе. Несколько человек в очереди с готовностью расступаются, и я боком прислоняюсь к барьеру. Я уже возле него. Безразличный ко мне, он гневно наступает на администраторшу:

– А если я за тысячу километров приехал. Так где я ночевать должен? Скажите, где?

– Это не мое дело.

– А чье дело? Вы для чего здесь сидите? – Он отстраняется от барьера и резко поворачивается: ему нужен союзник. – Слышали, не ее дело! Удивительная логика!

Мой вид, должно быть, его охлаждает. Он срывает шляпу и ладонью вытирает мокрую от пота полосу подкладки. Я дико гляжу в его обозленные глаза и чувствую, как горячая волна в моей груди постепенно остывает. Я узнаю и не узнаю. Черт, неужели ошибаюсь? Он с заметным животиком и довольно-таки лысоватый. Тот был при отличной строевой выправке, с жесткой шевелюрой на голове. Глаза наглые, слегка припухшие снизу – видно, пошаливают почки. Рост... Рост почти тот же, только этот гораздо тучнее.

Но ведь прошло двадцать лет.

Преодолев какое-то внутреннее оцепенение, я отхожу. Поодаль от всех расслабленно облакачиваюсь о барьер. Смятение и растерянность

мои понемногу проходят. Исподлобья я неотрывно наблюдаю за ним. Он или не он? Несколько опасаясь, чтобы он меня не узнал. Тогда наверняка скроется. Впрочем, узнать меня, пожалуй, не просто. В то время я был почти мальчишкой. Девятнадцатилетний младший лейтенант. К тому же я для него – убит.

А он не отстает от женщины-администратора. В край барьера вцепились его пальцы – короткие и толстые. Он вперяет в женщину тяжелый взгляд. Я видел его разным: угрожающим, растерянным и омерзительно угодливым. Теперь он обозленно-требователен. Женщина делает вид, что занята бумагами и не замечает его. Но не заметить его невозможно. Наверно, человек знает это и массивной глыбой возвышается над барьером. Уж он своего добьется.

Тягучий, надсадный звон в моей голове медленно отдаляется. Временами я теряю решимость. То кажется – окончательно и бесповоротно: он! То вдруг в его лице появляется что-то незнакомое мне, чужое, первый раз увиденное. Я не знаю, как поступить, и стою. На плечи гнетущей тяжестью ложится усталость.

В этом оцепенении проходит, пожалуй, немало времени, и в очереди выясняется, что мест больше не будет. Люди начинают расходиться. Кто-то предлагает: «Пошли посмотрим салют!»

Кто-то не соглашается: «Лучше на вокзал, пока скамейки не заняли».

Очередь быстро редет. Как-то нечаянно я теряю его из виду. Спohватившись, подхожу ближе, оглядываюсь, но его уже нет. Нет возле администратора, не видно в вестибюле. Как будто провалился сквозь землю. Чудно!

Я останавливаюсь перед барьером и ничего не соображаю. В душе такое чувство, будто по моей вине случилось непоправимое. Людей становится все меньше. Женщина из-за стола уходит, и оба стула пустуют. Как-то надо собраться с мыслями. Обидно, если все это только показалось. Столько душевных терзаний – и все прахом. А вдруг это он? Что тогда? Что я должен предпринять?

Надо бы все обдумать и что-то решить. Или, не раздумывая, догонять его, обратиться в милицию? Впрочем, милиция здесь ни при чем.

Наконец в вестибюле остается только администраторша за перегородкой и какой-то подвыпивший гуляка. Подпирая спиной колонну, он не может произнести ни слова и тупо смотрит в паркет.

Туристы куда-то ушли. Вестибюль тесно заставлен их чемоданами. Швейцары грузят их в лифт. У входа, возле телефона-автомата, переминаются с ноги на ногу девушка и парень. Звонить не звонят, похоже – выясняют отношения.

Туго бряцает входная дверь, и меня поглощает уличная суматоха. На тротуарах людно. Все куда-то идут, идут, идут – видно, к памятнику на площадь. В ясном предвечернем воздухе – горьковато-скипидарный запах тополиной листвы. Поредевший к вечеру поток машин изрыгает бензиновый чад. Кучка людей возле мороженщицы терпеливо дожидается своей очереди. Тут же бабка с пучком подснежников в старческих руках. Я бреду как лунатик. Начинает болеть голова. Всегда, когда разнервничаюсь, у меня болит голова. В карманах, к сожалению, никакой таблетки. Видно, надо бы где-то поискать пристанища. Но я почти ничего не замечаю. В растревоженной памяти будто весенним паводком начинают размываться напластования лет и событий. Отчетливо встающие образы воскрешают давнишнее и навеки памятное. Я уже знаю, что от него не отделаться. Его не залить водкой, не забыть в бесшабашном разгуле. Оно всегда в сердце, потому что оно – это я.

Глава третья

...Снег. Дорога. Колонна...

Мелькают сапоги, валенки, ботинки. Треплются на ветру заснеженные полы шинелей. Шуршат залубневшие промерзшие палатки.

– Старший лейтенант Кротов, в голову

колонны!

Повторенная зычными, глухими и сиплыми от простуды голосами, катится по колонне команда. Последним ее выкрикивает кто-то из тех, что замыкают колонну передней роты. Выкрикивает и довольно оборачивается, словно для того, чтобы увидеть, какое впечатление на батальон произвел его надсадный, хрипловатый, вовсе не командирский голос. Это совсем близко, и я, идя сзади, вижу немолодое, одутловатое от мороза лицо, стиснутое ушами завязанной под бородой шапки. Всмотриваясь, боец вытягивает из воротника морщинистую шею и останавливает на ком-то свой взгляд. Тогда и я оборачиваюсь. Командир шестой роты Кротов, опоясанный по телогрейке двумя кавалерийскими портупьями, будто не слыша вызова, с развальцовкой идет по сыпучему снегу обочины. Как всегда, в его темных недовольных глазах излишек командирской строгости.

– Вас – в голову колонны, – говорю я, решив, что ротный недослышал команды.

Кротов, однако, не взглянув на меня, угрюмо бросает:

– Слышу. Не оглох!

Колонна тем временем медленно останавливается. Задние еще устало бредут по растоптанному сотней ног сыпучему снегу, а

передние уже спешат использовать неурочный коротенький перерыв и торопливо снимают с себя отяжелевшее за дорогу оружие. Прикладами в снег ставят длиннющие стволы ПТР, осторожно, рукоятками вниз опускают на землю грузные тела «максимов». Минометчики с явным облегчением сбрасывают с плеч тяжелые ребристые плахи опорных плит. И вот уже кто-то блаженно разваливается на нетронutom снегу полевой обочины, кто-то бредет по нужде в заросли кукурузы, что широким клином подступает к дороге. В предвечерних сумерках над заснеженной степью веет сладковатым, удивительно ароматным и домовитым дымком махорки.

– Ну что ж, перекурим это дело, – говорит все тот же немолодой, видно, старательный боец и с сознанием заслуженного отдыха сворачивает на обочину. Помятые полы его шинели аккуратно подоткнуты, на спине, пристегнутая к вещмешку, пока без надобности болтается каска. Сегодня меня невольно занимают головные уборы, хотя я наверняка знаю, что ни каска, ни шапка мне не подойдут: надо было думать о том раньше. Но раньше о каске я мало заботился, и осколок от немецкого снаряда кромсанул меня по затылку. Правда, ничего страшного не случилось, только после перевязки оказалось, что шапка поверх бинтов не налазит, а каска причиняет боль. Так я и

остался с замотанной бинтами головой. На беду санинструктор не смекнул заодно забинтовать и уши, которые прошлой ночью изрядно прихватил морозец.

Я тоже схожу на обочину, туда, где стоит пулеметчик из третьего взвода нашей роты с удивительно незапоминающейся фамилией. Это – молодой подвижный боец в низко накрученных обмотках. Зачерпнув серой домашней варежкой чистого снега, он с наслаждением сосет его, поглядывая вокруг живыми глазами. Другой рукой парень придерживает опущенного прикладом на дорогу «Дегтярева».

– Видно, шестую роту в ГПЗ? – говорит он. – Теперь, считай, все трофейчики ихние.

И, сдвинув на затылок шапку, снова черпает снегу. Белобрысое лицо его таит любопытство и сдержанное мальчишеское добродушие. Я молчу. Тот, старший из четвертой роты, также подходит к нам и лаконично соглашается:

– Да, повезло этим...

Он шарит руками в карманах, по-видимому, доставая кисет и провожая взглядом четверых разведчиков, что торопливо идут куда-то в хвост колонны. Разведчики в белых перепачканных маскхалатах, поверх которых висят автоматы и брезентовые сумки с магазинами. Хлопцы заметно спешат, и вид у всех недовольный. Наверно, где-то

не ладится с разведкой.

– Марухов, привет! – бросает пулеметчик, узнав среди них знакомого. – Что, шестую в ГПЗ?

– Какой черт – ГПЗ! – зло ворчит передний. – Кротову шею мылят.

Пулеметчик в сдвинутой шапке от удивления раскрывает рот. На его высунутом языке – снег.

– Наверно, за Ивановку? Ага?

– Ага.

– Ну и ну! – говорит пожилой, держа в заскорузлых пальцах кiset с кресалом. – Коли за Ивановку, то похоже – всыпят.

Он начинает скручивать сигарку. В недоуменном любопытстве умолкают бойцы. Кто-то за моей спиной охотно подтверждает:

– Знамое дело. Не первый раз.

Они только догадываются, а я уже с утра размышляю над всем этим делом. Еще на рассвете в Большую Северинку к комбату приезжал особист Сахно. Запершись в хате, они долго обсуждали что-то, вызывали бойцов и сержантов, потом Сахно уехал. Но вот четверть часа назад вдоль колонны проскакал на коне старшина Шашок – ординарец, вестовой или, как там его называют, словом, писарь из штаба. Не остановившись, он спросил у меня, где комбат, и я махнул рукой туда, в голову колонны. Видно, потому и остановили батальон в степи. Кажется, в самом деле этому Кротову несдобровать.

Пулеметчик тем временем утоляет жажду и оббивает одну о другую рукавицы.

– Эй, бомболовы! – озорно кричит он бойцам шестой роты. (Их у нас еще с Курской дуги зовут бомболовами, хотя мало кто уже и помнит, что означает это прозвище.) – Через левое плечо кругом марш! В штрафную!

Однако шестая не хочет оставаться в долгу.

– Ага, в штрафную! А кто же тогда вас будет от танков спасать?!

Это – всем понятный намек. Неделю назад шестая фланговым огнем крепко помогла нашей роте, которую атаквали немецкие танки с пехотой.

– Тоже нашлись спасители! Вы ж побратались! – вьедливо упрекает пулеметчик.

Но это уж слишком, и я оборачиваюсь к бойцу:

– Ну-ну! Хватит!

Пулеметчик неловко щурится, чувствуя, что переборщил, и мне хочется напомнить ему что-то вроде: «Шути, да знай меру». Однако спереди доносится новая команда:

– Младший лейтенант Василевич, в голову колонны!

Это уже меня. Но зачем? Вроде бы я не замешан в таких малоприятных делах, как Кротов, рота которого недавно заночевала в одном селе с немцами. Случилось так, что «бомболовы» мирно

проспали ночь и увидели фашистов только утром, когда те, выстроившись в колонну, подались себе на большак. По крайней мере так рассказывают бойцы. Начальство же, видно, имеет на сей счет иное мнение.

– Ну что! Ага, сами влипли! – услышав команду, начинают злорадно кричать из шестой.

– Нам не за что! А вот вы...

– А ну прекратите! – приказываю я пулеметчику.

За головами бойцов слышится нетерпеливый голос самого комбата:

– Василевич! Тебя долго ждать?

– Иду, иду!

Придерживая на груди ППС, я устало бегу размятой дорогой. Я не могу позволить себе по вызову идти шагом. Из всех ротных в батальоне я самый младший – и по годам, и по званию. Видно, по этой причине мне от комбата достается больше других, и потому я вынужден всегда поторапливаться.

Комбат сидит на бугорке возле межевого столбика и мерзлым кукурузным стеблем ковыряет в снегу. Рядом, шурша на коленях картой, пристраивается наш усатый начштаба. Напротив стоит мрачный темнолицый Кротов, а чуть в сторонке, держа за поводья усталого коня, ждет чего-то старшина Шашок. Новенькая, из сизого

комсоставского сукна шинелка плотно облегает его широкую спину.

– Ну, как голова? – коротко взглянув на меня, спрашивает комбат.

– Ничего.

– А уши? Спеклись, наверно?

– Немного, – осторожно отвечаю я, не совсем схватывая суть его несколько необычных вопросов. Но чувствую, что это неспроста.

– Пойдете в санчасть, – объявляет комбат и бьет стеблем по снегу. Снежная мелочь летит на мои сапоги, попадает начштабу на карту, и тот с досадой стряхивает ее покрасневшей ладонью.

– Товарищ капитан, – пытаюсь возразить я, но комбат не хочет меня и слушать. Как и все командиры на свете, он не любит чужих возражений.

– Пойдешь в тыл. Все равно с такой головой – не вояка.

– Так ведь в роте никого не останется. Вы же знаете.

– Знаю. Завтра Басмак придет. А пока старшина Дорофеев покомандует.

Известное дело, наш старшина может покомандовать и сегодня и завтра, человек он самостоятельный и стреляный. И все-таки мне вовсе не хочется покидать роту и отправляться в санчасть. Если бы он послал меня туда днем

раньше, хотя бы прошлой ночью, когда мы мерзли под огнем в снегу после неудачной атаки. А то легко ему теперь ставить на роту старшину, когда части входят в прорыв, огибают немецкие фланги, и уже вон он, Кировоград. Днем из Северинки видны были его пригороды, дымы пожаров и высокие строения, которые штурмовали наши «ИЛы».

– Вот с Кротовым и пойдете, – говорит комбат, кивая головой в сторону командира шестой роты. Тот стоит черный, как земля, и не глядит на людей. – Да еще этих субчиков прихватите. Заодно, чтоб конвоиров не посылать.

Это он про трех немцев, которые плечом к плечу замерли напротив и настороженно поглядывают на начальство. Один из них – простоволосый, без шапки крепыш, второй – без шинели, в мундирчике, с отвисшими карманами и большими профессорскими очками. Третий – пожилой, нерасторопный толстяк, простуженно оттирает красный распухший нос. Веселая компания, черт бы ее побрал, думаю я. Удружил комбат, нечего сказать. Комбат же, нарочито не замечая моего неудовольствия, так же как и мрачного вида Кротова, достает из кармана алюминиевый портсигар, густо испещренный резьбой.

– Угощайтесь, старшина, – протягивает он портсигар Шашку.

Тот не заставляет себя уговаривать, делает

шаг навстречу и жестом равного берет папиросу. Потом к портсигару тянется рука начштаба. Кротов из-под нахмуренных бровей поблескивает злым взглядом, как мне кажется, тяжело, осуждающе вздыхает. Нам папирос комбат не предлагает. Они втроем молча прикуривают, и старшина, оставив в сторону обутую в немецкий валенок ногу, сквозь дым косится на меня одним глазом.

– Ты что же это, младшой, с таким скрипом приказ выполняешь?

Я поглядываю в его самоуверенное начальническое лицо и, сдерживая в себе злость, молчу. Какое ему, в конце концов, дело, и кто он такой, чтобы делать мне замечания?

Кротов, которого занимают свои заботы, нервно оборачивается к комбату:

– Так мне что? Роту сдавать, или как?

Комбат морщит лоб и старательно раскуривает папиросу.

– Ну почему сдавать? Что это вы уж... Сразу в панику...

– Роты пока не сдавать, – уверенно объявляет старшина, и комбат вслед за ним подтверждает:

– Да, пока не сдавать. Нет такого приказа.

– Дело ясное, – мрачно вздыхает Кротов. – Дело ясное, что дело темное. Ну и черт с ним! Пусть!

Он отчаянно ругается и отходит в сторону,

угрюмым видом давая понять, что безразличен ко всему и ничего не боится. Комбат встает с бугра и вытягивает голову, заглядывая в хвост колонны.

– Ну, где там Косенко? Не дожدهшься, черт побери!

Косенко, которого он ждет, – командир взвода разведки, и я начинаю думать, что, возможно, и его пошлют в тыл полка. С Косенко, конечно, было бы веселей. Парень он решительный и разговорчивый. Только вряд ли его направят с нами – теперь, когда идет наступление, он нужен здесь, впереди.

Тем временем над степью начинает темнеть. Стихает в зимнем небе гул самолетов, становится явственнее шелест кукурузы на ветру. К ночи сильнее донимает мороз, и я поднимаю воротник шинелки. Уши мои теперь как термометр – чутко реагируют на каждый градус похолодания. То и дело трещь их. Не хватало заботы.

Комбат ждет. Однако вместо Косенко на дороге появляется разведчик, который, лихо щелкнув каблуками, останавливается перед начальством.

– Товарищ капитан, лейтенант Косенко коня не дают.

Комбат недоуменно вскидывает русые брови:

– Как это – не дают?

– Не дают, и все. Говорят, хутор надо разведать. Хуторок там впереди.

– Хутор, хутор. Вот и на этом разведает, – тычет он будылиной в сторону коня старшины. – Чем не рысак? А то еще хорохорится. Тоже мне кавалерист!

Разведчик переступает с ноги на ногу. На его круглом, раскрасневшемся лице ни тени смущения – мол, мне что: лейтенант не дает, а я тут при чем? Но комбат, кажется, этого не понимает и, хмурясь, строго оглядывает бойца.

– Они говорят, пусть старшина Шашок на своей дохлятине и ездит, коли лучшего не умеет приобрести.

– Вы мне оставьте эти разговорчики! – распаляется комбат и с силой тычет стеблем кукурузы в снег. – Я приказываю! А его дело исполнять. Понял?

– Я-то понял, – охотно соглашается разведчик.

– Так исполняйте!

Рядом стоят, слушая эту не совсем обычную ссору, бойцы, зябко перестукивают каблуками немцы. То на комбата, то на разведчика выжидающе поглядывает старшина. Я терпеливо жду и думаю, что коник Косенко уже, видно, сдох. А ничего себе был трофейный рысачок в белых чулочках на передних ногах. Однако недолго погарцевал на нем взводный. Раз уж тем приглянулся, то пиши пропало, рано иль поздно отберут. На это они мастера.

Краем глаза я замечаю, как старшина строго поджимает тонкие на мясистом лице губы и что-то решительное появляется в его глазах. И тут он поворачивается ко мне:

– Ладно, вы идите. Берите тех, – кивает он на немцев, – и дуйте напрямки. Я догоню.

Он говорит это почти по-приятельски, и я не знаю, как понимать его: то ли это заявка на дружбу, то ли он, возможно, видит во мне здесь старшего. Но ведь Кротов старше меня по званию и должность у него постоянная, не то что у меня, временного ротного. Я вопросительно поглядываю на комбата, тот недовольно бросает «идите», и я поворачиваюсь к озябшим немцам:

– А ну марш! Марш, фрицуки пархатые!

Глава четвертая

Через минуту мы идем в кукурузе по следу глубоко вдавленных в снег танковых гусениц. Кротов и я – по правой колее, а немцы напротив – по левой. Кротов никак не может примириться со снятием его с должности и зло, в три этажа ругается. Гнев его, как и всегда, имеет определенный адрес и теперь направлен против комбата.

– Обормот! Лакейская морда!..

Немцы покорно шагают рядом – очкастый в

мундирчике впереди, за ним тот, что без шапки, – мрачный чернобровый парень, внешностью вовсе не похожий на немца. Пожилой же с трудом ковыляет сзади, то и дело отстает, шмыгая большим простуженным носом. К плену он хорошо подготовился, сразу узнаешь хозяйственного человека – на ремне котелок, фляжка, через плечо перекинута свернутое в скатку одеяло, на боку висит, похожая на охотничий ягдташ, брезентовая сумка. Не удивительно, что и отстает с таким грузом, и я, время от времени оглядываясь, с нарочитой строгостью покрикиваю:

– Шнель! Шнель, фриц!

Передний в очках также поворачивается и, будто старший среди них, что-то лопочет последнему. Я понимаю только:

– Шнеллер, камараде...

Пожилой несколько ускоряет шаг, разбрасывая коленями заснеженные полы шинели, и ворчит про себя. Кажется мне, в том смысле, что, мол, хорошо тебе, молодому, легко одетому, а я уморился уже, хочу закурить, да и вообще по самое горло сыт войной и фашизмом. Это вполне естественно для него, так как год уже сорок четвертый и немцы на фронте далеко не те, что были в сорок первом.

Передний чем-то похож на унтера, хотя китель на нем без всяких знаков различия. Лицо у

него продолговатое, в меру худощавое, с прямым носом и широким лбом – типичное немецкое лицо с сильно развитой нижней челюстью. Под толстыми стеклами очков – настороженные, но, кажется, рассудительные, без злобы глаза. Простоволосый же, что идет следом, выглядит уж очень унылым и мрачным. За все время он не произнес ни единого слова и ни разу не взглянул ни на кого.

Кротов с виду явно безразличен к пленным и то помолчит, то снова начинает ругаться:

– Чуть что из полка – и он уже на задние лапки. Своего мнения не имеет...

Мне кажется, это напрасно. Не такой уж комбат наш и угодливый, каким его представляет теперь обиженный ротный, – просто перед старшими пасует малость, как, впрочем, и многие в армии. Желая несколько смягчить его гнев, я обнадеживаю Кротова.

– Может, надолго не задержат там, – говорю я, имея в виду полковой штаб, куда его вызывают. – Напишите объяснительную и завтра будете в роте.

– А мне наплевать! Пусть задерживают. Что мне, в тылу хуже, чем на передовой? Я о том, почему они придираются с дуру.

– Бдительность.

– Бдительность! Дурость это, а не бдительность. Делать ему нечего, этому бабнику, вот он и цепляется. Ну влезли впотьмах в деревню,

не разглядели, не развели. Так что тут особенного? Что в этом преступного? Ведь ни одного человека не погубили. Разве лучше, если бы в степи пообморозились? Или, как тот дурень Сарафьянов, за два дня всю роту уложил? – рассуждает Кротов, уже не оглядываясь на меня.

Я молча нес на плече свой ППС, глядя на сапоги ротного, которые мнут туго спрессованный снег гусеничного следа. Походка у Кротова энергичная и легкая, какая бывает только у закаленных пехотинцев. Старший лейтенант не признает полушубков и с осени ходит в туго перетянутой ремнями телогрейке. На руках у него теплые овчинные рукавицы на тесемке, перекинутой через шею, и он в гневе широко размахивает ими.

– Приказано атаковать, ну и атаковал. Пока восемь человек не осталось. Небось его за это в особый отдел не потащат!

Да, за это, пожалуй, не потащат, соглашаюсь я. Напротив, могут представить к ордену за усердие и настойчивость в выполнении боевого задания. Кому там разбираться, что Сарафьянов набитый дурак и горлопан, что его давно надо гнать из батальона? Но комбат наш все же не такой, вообще он неплохой командир, не крикун и не трус. Разве что излишне тянется перед начальством. Однако в армии таких принято считать

дисциплинированными.

Кротов, будто угадав мои мысли, возражает:

– Дисциплинированный. Перед каким-то там старшиной расшаркивается, папиросочками угощает. Забыл, что и капитан, что и командир батальона. И если подумать, кто этот старшина? Холуй, самый настоящий.

Я молча вздыхаю. Да, конечно, старшина – невелика шишка, штабной писарь, но вся беда в том, что писарь не простой, не из какой-нибудь хозчасти или финсектора, а помощник и доверенное лицо капитана Сахно.

На повороте танковой колеи я оглядываюсь. Мы прошли по кукурузе уже далеко, батальонная колонна без следа исчезла в вечерней степи. Шашка почему-то нигде не видать. Но ведь старшина догонит, это нетрудно по хорошо приметному следу, а ночь обещает быть светлой. Еще не успело стемнеть, а на безоблачном морозном небе уже вовсю светит цыганское солнце – месяц. Хуже вот, что третий, пожилой, немец все время отстает, видно, устал и на мое строгое «шнель» почти не реагирует. Тогда я бросаю Кротову: «Стой!» Надо подождать, так как все же настает ночь и я, признаться, немного беспокоюсь, как бы этот фриц ненароком не шмыгнул в кукурузу. Старший лейтенант недовольно останавливается, охотно прекращают шаг немцы, и все мы ждем, пока

добредет по колее их «камарад». Кротов, наверное, уже примирился с моим тут командирством, и все же, чтобы смягчить некоторую неловкость, я достаю из кармана два сухаря.

– Хотите погрызть?

Завтракали мы на рассвете еще в Северинке, уже крепко проголодались за день, и потому сухарь кажется необычайно вкусным. Я слышу, как Кротов с наслаждением откусывает от него, и с полминуты мы сосредоточенно грызем жесткие куски. Потом невольно поглядываем на немцев, стоящих напротив, и перехватываем пристальный взгляд очкастого. Жесткий кадык на его длинной шее скользит вверх и вниз. Кротов перестает жевать.

– Что, доняло? – будто впервые заметив пленного, язвительно говорит он. – Навоевался, собачий сын? Жрать захотелось? Держи!

Старший лейтенант разламывает сухарь и бросает кусок очкастому. Тот, сноровисто подхватив его, с удовольствием вгрызается зубами. Рядом сдержанно стоит второй, без шапки, и я засовываю руку в карман. Там еще один кусок сухаря, последний из моей сегодняшней нормы, и я не без сожаления протягиваю его через дорогу. Немец секунду медлит, потом берет сухарь и, отставив нижнюю губу, неопределенно чмыхает. Я не успеваю сообразить, в чем дело, как он коротким взмахом через плечо швыряет сухарь в кукурузу.

Кротов перестает жевать. Какое-то время он молчит с желваком за щекой, потом, изломив одну бровь, шагает между колеями в снег:

– А ну подбери!

Немец, насупившись, молчит и не трогается с места.

– Подбери, гнида! – жестко приказывает Кротов и, выждав, коротко бьет его в челюсть.

Пошатнувшись, тот, однако, удерживается на ногах, и старший лейтенант кричит почти в бешенстве:

– Сволочи! Вши ползучие! Мою деревню сожгли! Из-за вас меня начальство таскает! На еще, гад!

Немец снова отшатывается, хватаясь рукой за щеку, но так ничего и не произнес. Своенравное упрямство его и во мне отзывается неподвластной озлобленной вспышкой. Какая-то животная ненависть так и подмывает захватить ему по морде, как это сделал Кротов, и я, чувствуя, что не сдержусь, делаю шаг к Кротову:

– Ладно. Оставьте его!

Пожилой тем временем догоняет нас и, видно смекнув в чем дело, услужливо лезет в кукурузу. Сдунув с сухаря снег, он почтительно подносит его разъяренному Кротову. Тот бьет немца по руке, и сухарь отлетает в снег еще дальше.

– Прочь! Прочь, гады! Я вас всех сейчас!..

Ротный хватается за кобуру на ремне, и я едва успеваю остановить его:

– Бросьте! Ну их к чертовой матери.

Смерив всех троих ненавидящим взглядом, Кротов неохотно переходит в правую колею.

Вот же гад фашистский, думаю я, приотстав и украдкой наблюдая за немцем. Волосы у того черные, жесткие, к ушам он и не притронется, будто и не ощущает мороза. За всю дорогу не произнес ни одного слова, ни разу не взглянул на нас. Во всей его фигуре чувствуется опасный, затаившийся враг. После случая с сухарем я невольно настораживаюсь и передвигаю свой ППС на грудь: мало ли что еще может выкинуть этот злыдень!

Степь затихает к ночи, но все же множество неясных разрозненных звуков свидетельствует о присутствии вокруг огромной силы войны. Идет наступление. Отзвуки его то и дело доносятся до слуха приглушенным танковым гулом, конским ржанием, далекими взрывами. Где-то на юге, за Кировоградом, пылает край неба: огненное зарево на небосклоне то ширится, разгораясь, то медленно притухает. Откуда-то долетают невнятные голоса людей, наверно, поблизости проходит дорога. Всюду в степи движение, выстрелы, люди. Из кукурузы, правда, мы не много вокруг себя видим...

Глава пятая

Шашок догоняет нас, когда уже устанавливается ночь и в высоком январском небе с острым блеском густо высыпают звезды. В полную силу светит луна. В степи светло, хоть собирай иголки. Густые синие тени неслышно скользят за нами. Тускло сереет кукурузное поле. На краю его мы с Кротовым замечаем подвижную тень. Коня почти не видно в кукурузных зарослях, но над стеблями скользит силуэт всадника. Мы останавливаемся и ждем.

– Фу, думал, не догоню, – с заметным облегчением, что наконец избавился от одиночества в ночном поле, говорит Шашок и придерживает коня. – Ну как, не разбежались фрицы?

– Не разбегутся, – говорю я.

Старшина направляет коня по левой колее и вплотную подъезжает к немцам. Кротов на ходу оглядывается (кажется, он стал спокойнее) и присматривается к всаднику и его лошади.

– Ну что, не откололось?

– Не откололось, – охотно отвечает Шашок. – Заупрямился разведчик. Не хотелось скандал учинять.

Все ясно: Шашок на той самой мухортой лошадке, на которой и приехал в батальон. Значит, Косенко проявил характер до конца. Он такой, наш

лейтенант-разведчик!

– Я бы тому коню – лучше пулю в ухо, чем вам отдавать, – говорит Кротов.

Шашок не отвечает, пропуская мимо ушей открыто неприязненную реплику, и развязно кричит на немцев:

– Шнель! Шнель, вашу мать! Затопчу, фашисты!

Он и в самом деле подстегивает поводьями коня. Задний немец пугливо выволакивается из колеи, простоволосый едва уклоняется от лошадиных ног. Старшина довольно хохочет.

– Фашисты, такую вашу!.. Уступай дорогу русскому воину!

– А ну кончай! – строго оглядывается Кротов. – Сперва в плен возьми, а потом будешь конем топтать.

Шашок настороженно притихает.

– А вам что, жалко?

– Не жалко, а гадко!

– Значит, защищаете? Немцев защищаете?

– Пошел ты к черту! – взрывается Кротов. – Хочешь дело пришить? Не боюсь я вас!

– Так, так! – многозначительно говорит Шашок и осаживает лошадь.

Немцы переглядываются, видно что-то поняв из этой перебранки, и мне становится неловко: нашли место ругаться! Но это все Кротов. Конечно,

он злой, расстроенный, и потому недалеко и до скандала.

Только я напрасно тревожусь, поругаться как следует они не успевают. На очередном повороте колеи в кукурузе нам встречаются люди.

Это связисты. Обвешанные катушками с кабелем, телефонными аппаратами и с оружием на груди, они, завидя нас, испуганно бросаются из колеи. Потом, видно признав в нас своих, несмело выходят из редкой кукурузы и выжидающе застывают на дороге. Взгляды всех четверых почему-то опасливо направлены в сторону.

– Что такое? – спрашивает Кротов:

Связисты топчутся на месте, движения у них робкие, голоса притишенно встревоженные.

– Там немцы, – наконец сообщает один с карабином на шее.

– Чуть не напоролись, – охотнее добавляет второй, не отводя взгляда от сумеречных кукурузных зарослей.

Двое других молча вглядываются в ночь. Я также всматриваюсь в том направлении, но нигде ничего не вижу. Кажется, повсюду все та же густо исчерченная тенями кукуруза, сверкающее звездами небо и сонная тишина.

– А в штанах у вас еще не того? – вглядевшись в ночь, с издевкой спрашивает Кротов.

– Ей-богу, товарищ командир, – испуганно

шепчет первый. – Тянем нитку, вдруг – голоса. Присмотрелись – сидят в кукурузе двое. Один другому прикурить дает, и по-немецки гергечут.

– Иди ты, парень, знаешь куда! – злится Кротов. – Откуда им тут взяться? Вон где немцы! – показывает он назад, на зарево за Кировоградом.

– Безусловно, – с уверенностью подтверждает Шашок. – Я еще засветло тут проезжал, никого не было.

Действительно, откуда тут взяться немцам, уже почти что в глубоком тылу полка? Батальоны ушли далеко вперед, танки еще дальше. Если бы случилось неладное – начальство уже приняло бы нужные меры.

– И танк! Стоит, кукурузой обложенный. «Тигр»! – будто не слыша наших возражений, в каком-то невразумительном трансе твердит связист.

Кротов с нарочитой простоватостью в голосе спрашивает:

– Танк?

– Танк.

– «Тигр»?

– Ага. Наверно, «тигр». Очень большой. Прямо огромный.

– Знаешь, боец! Был бы ты в моей роте, я бы тебе показал «тигра»! Он бы тебе котенком сдался, – грозит Кротов. – А ну, тяните связь, куда приказано. И без паники мне! Живо!

Связисты топчутся на месте. От командирской категоричности у них, судя по всему, мало прибыло решимости.

О чем-то переговариваясь, они остаются, а мы идем дальше. Я начинаю зорче, чем до сих пор, всматриваться в ночные сумерки, Кротов сдвигает на поясе кобуру. Немцы, вряд ли поняв что-нибудь из нашего разговора, тихо бредут своей колеей. Молчаливую настороженность первым нарушает Шашок.

– Младшой, – обращается он ко мне. – Ты это вот что...

Я гляжу на старшину, он, сверху осматриваясь по сторонам, что-то решает.

– Ты вот что... Веди их прямо, а я... А я подскочу в батальон. Забыл одно дело.

Что ж, скажи. Мне что? Только никакого у тебя дела там нет. Просто ты испугался, писарская душа, думаю я. Кротов, недобро сверкнув глазами, оглядывается на него, но молчит. Шашок торопливо заворачивает коня и с места пускает его в галоп.

– Уже наложил, – бросает Кротов.

– Что?

– Наложил, говорю, – громче повторяет ротный. – Ну и черт с ним. Баба с воза – кобыле легче.

Немцы, видимо, все же что-то поняли из

нашей заминки. Передний, в очках, не оборачиваясь, сообщает что-то остальным, и чернявый с явной заинтересованностью всматривается в сумеречную даль. Стараясь внимательнее следить за ними, я правой рукой нащупываю рукоятку затвора.

Так мы проходим километр или больше. Никто нам не встречается, поблизости, сдается, ни одного подозрительного движения. Кротов решительно сплевывает на снег.

– Этим тыловикам завсегда черти снятся. Такой уж на...

Он, видно, хочет сказать «народ», но замирает на полуслове и останавливается. Я едва не наскაკиваю на него сзади, и тут отчетливо, хоть и не совсем реально (словно во сне), вижу впереди людей. Человек пять стоят в кукурузе, всматриваясь в нашу сторону. Рядом темнеет неопределенное пятно – куча кукурузы или какой-нибудь куст. Чуть подальше – другое, а там еще и еще. Все это появляется перед глазами так неожиданно, что, еще ничего не поняв из увиденного, я вздрагиваю от первой и самой страшной догадки: немцы!

Я еще не успеваю вполне осознать опасность, как Кротов сильным рывком выпрыгивает из колеи. Из его груди вырывается приглушенный вскрик, и старший лейтенант, пригнувшись, как хищник, бросается по ту сторону дороги. Секунду я не

соображаю, в чем дело. Удивленный взгляд мой устремляется за Кротовым, и тогда я вижу, как один из наших немцев бежит в кукурузу.

– Стой! Стой, гад!..

Это кричит Кротов. На бегу он пытается выхватить из кобуры пистолет, но тот почему-то застрял и не вынимается. Зацепившись за стебель, Кротов падает, тут же пытается вскочить, и тогда первая трескучая очередь прошивает морозный воздух. Я падаю в колею, дергаю рукоятку затвора. Невдалеке в кукурузе что-то вспыхивает. Взрыв обдаёт лицо снегом. На мгновение в глазах мелькает рука Кротова с задранной локтем. В ней пистолет. Затем радужное пятно в глазах гасит зрение. Не сразу затем из звездной темноты вверху проступают спутанные стебли кукурузы. Над ними неподвижно висит низкий месяц и еще ниже, на снегу, – две тени. Одна лежит в колее, а вторая, падая и вскакивая, уходит в кукурузу. Правда, не к немцам и не назад, а куда-то в сторону от всех. «Удерет», – мелькает в сознании, и я, не целясь, нажимаю на спуск. Автомат коротко вздрагивает, и треск его выстрелов возвращает меня к реальности. На руках и коленях я бросаюсь к немцу, тот впереди также вскакивает и, пригнувшись, широко сигает меж редких стеблей. Я, задыхаясь, кричу: «Назад!» Он испуганно бросается в сторону. Но в несколько прыжков я все же настигаю его и падаю

почти рядом. Шумно дыша, он лежит, вглядываясь в меня, и ждет. Одежда его и голова в снегу. Я скидываю автомат и в лютой ярости хрипло команду: «Назад!» Немец послушно поднимается на колени и торопливо ползет между изломанных стеблей кукурузы. За ним на четвереньках ползу я. Откуда-то сбоку отчетливо доносится встревоженная немецкая речь. Кротова нет. Мерзлые тугие кукурузные стебли путаются под руками, задевают плечи и голову. Но кукуруза все же скрывает нас, и мы торопливо удаляемся от того места, где нас положила очередь. Нас всего двое. Тот, в колее, так и не поднимается. Я не знаю даже, который это из них, как не знаю, который ползет со мной. И непонятно, что с Кротовым! На секунду задержавшись, я оглядываюсь, немцев не видно. Уже начинает казаться, что мы оторвались от них, как вдруг совсем рядом в кукурузе раздается крик:

– Хальт!

– Хальт!

– Хальт, рус!..

И очередь – одна, вторая, две сразу. Мы падаем и по рыхлому снегу опять бросаемся в сторону. Мое внимание раскладывается надвое – одновременно я ловлю все, что угрожает нам сзади, и не упускаю из виду немца. Он вертится как уж, ползет, и я тоже извиваюсь, кувыркаюсь, ползу, чтобы не отстать.

В кукурузе тем временем раздаётся одиночный пистолетный выстрел, и затем снова, приглушенные расстоянием, доносятся крики немцев. И тут какой-то хриловато-отчаянный крик, отдаленно напоминающий голос Кротова, останавливает меня:

– Нет! Нет! Сволочи-и...

И снова щелкает слабый пистолетный выстрел – второй. Третий, видно, накрывает очередь, и после ее треска все там стихает.

«Что же это? Как это? Почему такое?» – точно дрожь бьет меня растерянная мысль. Вываленный в снег, я лежу меж спутанных будылей кукурузы. Передо мной лежит немец. Я только теперь узнаю его, это тот, очкастый, в мундирчике. Правда, очков у него уже нет. Он тяжело дышит и растерянно моргает своими белесыми глазами. Я вскакиваю на ноги и тут же приседаю от боли в стопе. Нога заметно тяжелеет, что-то горячее, остро-жгучее расплзается по стопе. В сапоге становится мокро. «Ну вот и все!» – сжимает сердце тоскливая мысль. Однако я тут же овладеваю собой, поняв, что, растерявшись, погибну. Воля моя свивается в клубок, внимание предельно напрягается, время четко отмеривает решающие для меня секунды.

Привстав на колени, я наступаю на раненую ногу – цела ли хоть кость? Если надломится – тогда все пропало. Но, слава Богу, нога выдерживает,

только сильно болит в стопе и жжет. Правда, боль не в счет – боль мы как-нибудь стерпим. Пригнувшись, я толкаю автоматом немца, и мы скрываемся в кукурузном массиве.

Глава шестая

Люди идут, идут, идут...

И я иду. Иду бесцельно, неведомо куда, навстречу теплой весенней ночи. Вечерняя тишина высокого погожего неба миром и благостью вливается в растревоженную душу. Мелкой трелью рассыпается-журчит «Спидола». Это впереди размеренно шагают, словно плывут в людском потоке, трое молодых парней. Черные вечерние костюмы, остроносые туфли, аккуратно причесанные шевелюры...

Теперь, через двадцать лет, можно судить по-разному, хотя, признаться, я и до сих пор толком не знаю, как все это случилось. Возможно, отступая, немцы намеренно оставили в нашем тылу танковую группировку, а может, наши части в ходе наступления сами обошли ее. Вперед, не обращая внимания ни на что, как можно глубже в оборону противника – было неписаным правилом каждой наступательной операции. А танки остались. Скорее всего, это произошло именно так. Важно было окружить Кировоград, поставить под угрозу

разгрома десятков немецких дивизий. И вот в каком-то месте нашего боевого порядка образовалась брешь, в которую вклинились немцы.

Для фронта это было не страшно, для армии тоже. Дивизии было хуже. А вот для нас... Для меня, Кротова, бедолаг раненых, так же как и для беспечных тыловиков, это стадо вопросом жизни и смерти.

Людской поток с тротуара вливается в огромную толпу на площади. Тут памятник. Высоченный, не очень оригинальный монумент, сооруженный по привычным стандартам своего времени. Наверху – орденская звезда Победы. Хлопцы уверенно прокладывают себе путь в толпе, ближе к памятнику. Там же Вечный огонь. Конечно, на могиле Неизвестного солдата. Вокруг шум и толчея. Толпа теснится, сдвигается в сторону, пропуская вовнутрь строй пионеров со знаменами. Лесной аромат хвои от венков настраивает на похоронный лад. Торжественная минута возложения. Людской шум немного притихает, громче звучит марш из репродукторов. Возле памятника слышится какая-то команда, и я думаю: возможно, тут будет митинг? Хотя на митинг как будто не похоже – нет ни трибун, ни руководства. Отработанным, хорошо поставленным голосом юная воспитанница школьной самодеятельности читает стихи. «Никто не забыт,

ничто не забыто», – звонкой медью разносятся над площадью бодрые, полные оптимизма слова.

Я пробираюсь меж людей к памятнику. Что мне там надо увидеть? Всюду лица, лица, лица. На меня никто не обращает внимания. Тем лучше. Я понимаю, что найти тут кого-нибудь – безнадежное дело. Иголка в стогу сена. И все же я проталкиваюсь в середину. Гранитное подножие монумента завалено зеленью венков. Сколько еловых веток! На войне они сопутствовали убитым в их последнем земном пути. Вместе с ними клались в могилы, устилая вечное пристанище. Терпкий смолистый запах стоит над площадью.

К огню, однако, не подступиться. Оттуда идут пионеры. Стройные ряды белых рубашек и кофточек. Торжественно алеют галстуки. Я заставаю в плотной группе молодежи. Снова остроносые туфли, каблочки-шпильки, пышные нарядные прически. И откуда-то из-под пиджаков, из карманов – та же приглушенная россыпь транзисторов:

А за окном то дождь,
то снег,
И спать пора-а-а-а...
Но никак не уснуть...

– Старина, что смотреть! Провырнемся?

– Эдик, нахал! Ну тебя!

– Посмотри, вон та. С ямочкой.

– ...Такой чудак! Он мне говорит... Я ему говорю...

Торжественная церемония у памятника их мало занимает. Они живут своим, куда более привычным и близким. И я их понимаю. В самом деле: прошло двадцать лет. Одни ничего уже не помнят из своего раннего детства. Другие родились после войны. Война для таких своего рода абстракция. Как крепостное право. Оледенение Европы. Неолит.

Медленно я пробираюсь между их плотных рядов. Мне нужен Вечный огонь. Зачем – не знаю и сам. Разве чтобы приблизиться, посмотреть. Во всяком огне есть что-то неизъяснимо притягательное. Возможно, это инстинкт, унаследованный из глубины веков. У древних огонь был источником жизни, средством очищения и жертвоприношений. Теперь он символ другого смысла. Мне хочется только взглянуть на него и тем приобщиться к памяти мертвых.

Не очень деликатно раздвигая людей, я приближаюсь к обелиску. Правда, огня почти не видать. Низкая бронзовая горелка со всех сторон обложена венками. Над хвоей прозрачными волнами струится горячий воздух. В широком

молчаливом кругу замерли люди – взрослые и дети, мужчины и женщины. Строгие взгляды всех прикованы к одной точке. Лица торжественно сосредоточенны. Они мудры и светлы, эти лица. Мне кажется, я никогда не видел такими наших людей. Даже не верится, что это обычные лица самых обыкновенных людей. Впрочем, это те, по судьбам которых всей своей тяжестью прошла война. Едва взглядевшись, я сразу понимаю это.

Что ж, пожалуй, я не буду тут лишний.

Я вытягиваю голову из-за чьей-то широкой спины и молча стою со всеми. Горелка струит едва приметный на зеленом фоне дымок. Мягкой позолотой поблескивают литые рельефы памятника. Напротив, будто мраморное изваяние, – неподвижно скорбное лицо женщины. Она в большом темном платке, из-под которого выбивается на лоб прядь белых волос. Невдалеке, скрестив на рычагах руки, инвалид в коляске. И вдруг я слышу тихий вопрос впереди стоящего:

– Он какой, огонь-то? Настоящий?

– Самый вправдашний, папка. Это от газа огонь. Как на кухне у Кузьмичевых.

Восьмилетний мальчонка тормозит за руку человека. Тот, однако, стоит ровно, едва склонив голову.

– Большой?

– Большой, папка. Только венками завалили –

не видать.

– А венков много?

– Много. На мазовский самосвал не вместится.

– Самосвал, он как «студебеккер»? Да?

– Что?

Мальчик не расслышал или не понимает незнакомого слова. Я объясняю:

– Много венков. Пожалуй, на «студар» с верхом.

Человек вполоборота поворачивает ко мне побитое порохом лицо:

– Спасибо. Большое спасибо.

Пожалуйста. Хотя зачем благодарности? Зло меченные войной, мы и так отлично понимаем друг друга. Я обхожусь без ноги, он – без глаз. Мы – братья одной судьбы. И мне становится хорошо здесь, в этом тесном строю. На этом стихийном митинге без ораторов. Мальчонка из-под отцовской руки с уважительным любопытством поглядывает на незнакомого человека.

Однако хорошего понемножку. Сдается, долг мой исполнен, и я начинаю выбираться из толпы. Все-таки вечный огонь в память о павших – это здорово. Если только вечность его не окажется слишком короткой. Как те навечные зачисления героев в списки частей, впоследствии расформированных.

Я решительно выбираюсь из толпы. Вдоль тротуара – плотные ряды людей. Кто-то клацает «Зорким». Женщина на вытянутых руках высоко поднимает ребенка. Пусть видит и помнит. Пригодится.

Перейдя тротуар, натыкаюсь на ряд красных газировочных автоматов. Возле них тоже толпятся люди. Щелкают медяки, неторопливо гудят железные механизмы, аккуратно отмериваются ровные порции. Стараясь не ступить в лужу на асфальте, ищу стакан. Возле крайнего автомата, заслоня друг друга, что-то хитрят двое уже немолодых людей, по возрасту, похоже, фронтовики. У обоих в руках стаканы. Ясно, не с газировкой.

Один из них, перехватив мой озабоченный взгляд, с обезоруживающей фамильярностью подмигивает:

– Одну минутку.

И прячет за автомат бутылку. Я останавливаюсь в сторонке и жду. Мужчины украдкой чокаются. Один рослый, тяжеловатый, с кирпичного цвета лицом. На его пиджаке три ряда орденских планок. Два – Красного Знамени, по одному – Александра Невского и Отечественной войны. У второго, который чуть помоложе, с каким-то простецким помятым лицом, лацкан коричневого пиджака оттягивают две Красные

Звезды. Видно, привинтил специально к празднику. Мужчины торопливо пьют и, крикнув, заедают сушеной воблой. Старший выразительным кивком головы указывает на мою ногу:

– Что, на войне?

– На войне.

– А газировку пьешь. Иль не заработал? – грубовато упрекает он и спрашивает: – Стукнуло где?

– На Втором Украинском.

– Сосед. Я с Первого. А этот с Ленинградского, – с треском ломая воблу, кивает он на собутыльника.

Я жду, а он, помедлив, наклоняется над бутылкой. Широкая большая его рука щедро наливает почти полный стакан.

– Давай! За тех, кто хочет, да уже не может.

– Не пью, к сожалению.

На глазах хмелея, человек готов возмутиться:

– Как это не пьешь? Тогда ты не фронтовик. Ты – железнодорожник!

У него неторопливые движения, непререкаемый командирский тон, самоуверенный взгляд человека, знающего себе цену. Тот, что помоложе, напротив, все время смеясь глазами, грызет металлическими зубами воблу и подмаргивает.

– Давай, друг! За русских Иванов.

Мне вовсе не хочется пить, но их непрекаемая категоричность обезоруживает. Неудобно, но разве что за Иванов. Младший отламывает кусок воблы, и я торопливо, захлебываясь, пью. Как на фронте. Случайная чарка среди незнакомых соседей – танкистов или минометчиков. Правда, там не было и следа неловкости.

– Ну и ничего! – одобряет старший. – Справился. Трепался только. В каком звании?

– Я?

– Ну не я же.

– Младший лейтенант.

– Понятно. Ванька-взводный?

– Да. Хотя и ротным был.

– Я тоже. До Берлина вырос в дивизионного.

Соленый кусок рыбы обжигает во рту. Настроением быстро овладевает хмельная благостность. Из репродукторов гремит «Священная война». Рядом ходят, толкаются люди, но мы уже не обращаем на них внимания. Меня интересует мой собутыльник. Насчет дивизионного, по-видимому, он все же загнул.

– Не слишком ли высоко?

– Высоко? Думаешь, до дивизии недобрал? Да? А ну, подсчитаем. Один комплект роты двести человек...

– Смотри какой роты.

– Какой? Штрафной, конечно.

– Штрафной?

Я с новым интересом поглядываю на этого человека. Плечом тот прислоняется к красной обшивке автомата.

– Ну и вот. Двести умножь на двенадцать. Двенадцать раз формировались. Не считая частичных пополнений. Дивизия!

Ну, может и не дивизия, но тоже немало. Я впервые встречаю человека, который на фронте командовал штрафной ротой, и с нескрываемым любопытством гляжу на него. Младший разрывает пачку «Беломора». Возле нас появляется женщина в прозрачной косынке и с медяком в пальцах.

– Стаканчики свободны?

– Заняты! – бросает старший.

– Пьяницы проклятые!

– Цыц, тетка! У нас поминки!

Женщина, отойдя, грозитя:

– Вот позову дружинников, тогда помянете. В отрезвитель вас, алкоголиков!

– Что? Дружинников? Зови! Зови дружинников! – начинает распалаться старший и угрожающе ступает от автомата.

Младший, блеснув металлическими зубами, хватает его за руку:

– Кузьмич, спокойно! Спокойно, Кузьмич!

– Что спокойно? – кричит Кузьмин. – Пошли

вы!.. Давай еще стакан.

Младший достает из-за пазухи новую бутылку, и Кузьмич натренированно срывает с нее белую головку. Руки его дрожат.

Водка через край стакана льется на асфальт. На этот раз они пьют вдвоем и молча. Я понимаю: пора идти. Но Кузьмич, выплеснув остаток спиртного под ноги, поднимает на меня покрасневшие недовольные глаза:

– Что смотришь? Осуждаешь, да? Осуждаешь? Двенадцать на двести, думаешь, где? В земле! Из плена прибегали! Не усидели до конца войны. Вот! Кто сегодня в героях? Брестская крепость и так далее! А я четверых из Брестской на Сандомирском плацдарме закопал. Вот! Тогда не спрашивали, как в плен попал! Спрашивали, почему не застрелился! Ясно? Ты! Железнодорожник! – с яростью заканчивает он.

– Кузьмич, спокойно! Тихо, Кузьмич, – берет его за пиджак младший.

Кузьмич зло и почти бессмысленно смотрит на меня. Кажется, он уже забыл, кто я, и готов обрушить на меня весь свой накопленный с войны гнев.

– Ладно. Будьте здоровы! – говорю я. – Спасибо.

Младший сжимает мою руку:

– Не за что. Ты не обижайся. Знаешь...

Кузьмич, он добрый...

Прихрамывая, я не спеша иду по тротуару. У выпившего хромота становится всегда заметнее. И я не обижаюсь. Вообще пьяницы омерзительны, тем более скандалисты. Но этого, «дивизионного», можно понять. Двести на двенадцать! Невольно озвереешь. Особенно с годами. Когда все это отстоится, усилится в эмоциональном восприятии и прозреет в памяти. Тогда и замелькают мальчишки кровавые в глазах.

А Сахно? Видит ли он своих мальчиков? Тех, что погибли от него и из-за него?

Нет, я никудышная размазня. Надо было сразу же задержать его, спросить документы. Если что – позвать на помощь людей. Столько передумано о нем, а когда представилась наконец просто невероятная, может, единственная в жизни возможность, так я растерялся. Фронтвик, называется!

Водка заметно будоражит мое сознание. Хочется что-то предпринять, на что-то решиться. И я бреду, куда ведут меня улицы. Сначала по проспекту, потом на перекрестке сворачиваю за угол. Постепенно поток прохожих на тротуаре редет. Разом, вспыхнув, загораются вверху фонари. Их круглые шары, как спаренные луны, тускло светятся в небе, над мелкой еще листвой лип. По мере того как темнеет небо, они

разгораются все сильнее...

Глава седьмая

Не скоро еще мы выбираемся из кукурузы в чистое поле с разбросанными там скирдами, и я вслушиваюсь. Откуда-то доносятся голоса, но это далеко и не сразу определишь – свои или немцы. В сапоге хлюпает кровь, руки заоченели от мороза. Рукавица осталась только одна, и та мокрая от снега и не греет.

Немец плетется сзади, натыкаясь на кукурузные стебли, часто цепляется за них сапогом и падает. Без очков он совсем стал слепым, и я, сжимая от боли зубы, время от времени покрикиваю на него. Внутри у меня все горит от усталости и изнеможения, спина вся в холодном поту, сердце того и гляди выскочит из груди.

Что же это случилось, как же это? – не могу я понять. Как это в своем тылу мы угодили в такую ловушку, как нарвались на засаду? Бедный Кротов! Мне то жалко его, то я чувствую в себе жгучую злость на него. Впрочем, я ругаю себя, комбата, старшину Шашка, хотя руганью уже ничего не исправишь.

Танки! Откуда они взялись тут, и что мне, подстреленному, теперь делать? Надо как можно скорее доложить начальству. Надо принять

какие-то меры, нельзя допустить, чтобы в тылах батальонов хозяйничали вражеские танки. Это – разгром и гибель.

Но кому скажешь? Как назло – нигде никого из своих. Хотя бы связисты, они помогли бы. Только связистов уже давно простыл и след. Кругом дремотно покоится широкая степь, залитая ярким светом высокого месяца. Пересыпается под ногами неглубокий снег. Поодаль толпятся заснеженные скирды.

Я не могу сдержатъ нетерпеливости и то и дело пытаюсь бежать. Только нога моя болит все сильнее, я хромаю, и немец начинает обгонять меня. Так мы добредаем до ближайших скирд, и тогда я вижу невдалеке повозки. Глухо стуча колесами, они неторопливо катятся куда-то в снежную даль.

– Эй! Эй! – кричу я, бросаясь бежать.

Нет, упустить их мы не можем. Это последняя наша возможность предотвратить беду, которая нависла над батальонами, а может, и над полками тоже.

– Эй! Стой! Стой!

Передняя повозка все катится, наверно, никто там меня не слышит, а задняя и в самом деле вдруг останавливается. Но это все же далеко, и я изо всех сил нестерпимо долго бегу, загребая сапогом рыхлый, рассыпчатый снег. Мне все кажется, что

ездовой не дождется нас и повозка вот-вот тронется следом за первой. Но он все же терпеливо дожидается, и мы с немцем наконец добираемся до дороги. В подводе несколько человек. Все молча и не очень дружелюбно всматриваются в нас.

– Там танки!.. В кукурузе!.. – говорю я, сдерживая дыхание и стараясь выглядеть как можно спокойнее. Только это, видать, мне плохо удается.

На повозке молчат.

– Танки! Немецкие танки. Понимаете? Где командир? Давайте к командиру! – с запальчивой решимостью требую я.

И тогда на повозке отзывается недоверчивый женский голос:

– Видно, здорово тюкнуло? Может, и контузия, а?

Эта ничем не прикрытая ирония выбивает из меня остатки квелого моего самообладания.

– Какая контузия?! Пошли вы к черту! Танки! Понимаете, немецкие танки! В кукурузе!

На подводе зашевелились, кто-то, опершись на плечо ездowego, соскакивает на снег. Оказывается, это девушка в полушубке и шапке. Но она мне незнакома, видно, подвода не нашего, а какого-либо другого полка.

– А ну покажи голову!

– Да не голова! Ты вот ногу перевяжи. В ногу ранило! – кричу я, теряя терпение от этой нелепой

ее невозмутимости.

– Ногу?

– Да! Ногу! Не веришь?

Я опускаюсь на снег и, чтобы не завывать от боли, сжав зубы, стаскиваю с раненой ноги сапог. Там мокро, и я опрокидываю его голенищем вниз – на снегу появляется темное пятно крови.

Это убеждает. Девушка вскидывает голову и вдруг настораживается.

– Постой! А тот кто?

– Немец. Не бойся, не укусит: пленный! – раздраженно чуть не кричу я.

Нога дико болит, мокрые пальцы стынют на морозе, я уже готов возненавидеть эту «помощницу смерти» за ее недоверие и медлительность.

– Давай на подводу! – говорит она. Затем уверенно берет меня под руку и прикрикивает на немца: – А ну помоги! Что глядишь, как Гитлер?

Немец понимает и с неловкой деликатностью подхватывает меня под локоть.

– Ладно, идите вы! Я сам...

На одной ноге я допрыгиваю до повозки. Там, оказывается, лежат на соломе еще двое раненых. Один тихо стонет, запрокинув голову, второй, приподнявшись, запавшими глазами на исхудалом лице смотрит на меня.

– Вот тут, в уголок.

Девушка с ездовым устраивают меня на

подводе. Затем она ловко и туго перевязывает бинтами мою простреленную стопу. Но тут обнаруживается новая беда – сапог на перевязанную ногу уже не налазит, да и боль такая, что нет сил вытерпеть это мучительное обувание. Напрасно помучившись с минуту, я бросаю сапог в солому. На снегу возле дороги остается окровавленная портянка.

– Повезло, – говорит девушка. – Еще бы на миллиметр, и – кость вдребезги.

«Кость, кость!» – меня раздражает теперь это ее неуместное сочувствие. Сам знаю – вдребезги. Кость – не железо.

– Давай быстрее! – кричу я. – И немца посади.

– Некуда! Пусть бежит. Протрясется.

– Протрясся уже. Последний остался. Второго ухлопали. И Кротова! – говорю я, почти физически ощущая, как в тревожной тоске сжимается сердце. Эх, Кротов, Кротов!..

В который уже раз я не могу примириться с такой внезапной и скорой гибелью человека. Просто это невозможно постичь. Ведь только же был с тобой рядом, шел, ел, ругался. И вот его нет. И никогда уже не будет.

Девушка, примащиваясь возле ездового, удивленно оглядывается:

– Кротов? А что Кротов?

– Убили, что!

– Кротова? Командира роты?

– Ну.

– А ты не треплешься, младшой?

Она впервые настораживается, кажется, только сейчас проникшись моей тревогой и моей бедой.

– Только мне и не хватало еще трепаться с вами! Гони в полк! Танки вон в километре! – кричу я. – Ты понимаешь или нет?

– А ты не кричи! Тоже командир нашелся! – злится девушка.

Я умоляюще гляжу на нее и думаю: «Не буду, не буду кричать, только давай же быстрее! Милая, хорошая, или как там тебя назвать, гони же!» Девушка настороженно поглядывает в ночную степь, секунду вслушиваясь, потом толкает притихшего ездового:

– А ну погоняй!

И ездовой быстро гонит пару шустрых лошадок, от которых курит паром, и все оглядывается по сторонам. Повозка то дребезжит и подскакивает на кочковатых выступах ненаезженной полевой дороги, то стихает, увязая колесами в сыпучем снегу. Сидеть мне страшно неудобно. Коченеет нога, горячей болью жжет рана. Но и подвинуться нельзя ни на сантиметр. Я и так сижу чуть ли не на самых ногах раненого, который стонет, ругается и умоляет девушку:

– Катерина! Катя! Тише! Черт бы тебя побрал. Живо дер ты, а не сестра, тише! Ух!.. Ох! Катюшенька!..

Катя наклоняется с передка, одной руки придерживает его голову и просит с той непривычной на фронте нежностью, которая уместна только по отношению к тяжелораненым:

– Потерпи, миленький. Потерпи, родной! Сейчас уже. Скоро...

И тут же, повернув лицо к немцу, который, уморившись, бежит за подводой, кричит:

– Быстрее, немчура проклятая! Быстрее!

Я молчу, ничем не высказывая своего отношения к ее окрику, и, видно, потому она поясняет:

– Была бы моя власть, я бы его бегом прогнала на Северный полюс и обратно. На Колыму б его, собаку! За наши муки! Пусть бы померз, помучился, сколько русский народ мучается.

Затем с твердостью человека, привыкшего, чтоб его слушались, негромко приказывает ездovому:

– Погоняй!

И тут же наклоняется к раненому:

– Потерпи, потерпи, миленький!

Да, уж терпи как-нибудь; надо спешить. Я и сам едва держусь, нога мало того что болит, еще и мерзнет под полой шинели. Только надо терпеть до

села. Там люди, штабы, командиры, они что-нибудь предпримут.

Глава восьмая

Село возникает неожиданно. На лунной белизне длинной, пологой балки появляется ряд белых мазанок с изгородями, плетнями, зарослями вишенника на межах. Местами мирно светятся окна, на улице – урчание машин и голоса. В селе свои. Правда, меня немного удивляет такая идиллия под носом у немцев. Но ведь это тылы. Полки наступают неплохо, впереди танки, артиллерия, чего им бояться?

Дорога катится вниз; дребезжит, грохочет повозка; Бога и всех чертей поминает бедолага раненый. Даже второй, что поспокойнее, и тот поднимается на локте под шинелью. На его белом, неестественно ошетилившемся лице отчетливо проступает гримаса страдания. Катя на передке заикающимся от тряски голосом успокаивает:

– Счас, счас, родненькие... Счас...

Мы быстро спускаемся по отлогому склону и, проехав короткую, обсаженную вербами греблю¹, сворачиваем в улицу. Но по улице не проедешь.

¹ Гать.

Впереди, перегородив дорогу, урчит многосильный «студебеккер». Из приоткрытой дверцы кабины высовывается шофер, привычным движением руля он помаленьку сдает назад. У плетня спиной к нам кто-то в полушубке командует нервным осипшим голосом:

– Лево руля! Лево! Еще лево! Давай, давай!..

«Студебеккер» пролезает в непомерно узкие для него ворота, тяжелыми скатами вминает снег, и вдруг обмазанный глиной плетень с хрустом кладется на землю. Человек в полушубке вскидывает кулаки:

– Куда даешь?! Куда даешь, собачий ты сын? Где у тебя глаза? Где глаза у тебя, я спрашиваю?

Он почти в бешенстве подсакивает к кабине, кажется, вот-вот набросится на шофера. Но не набрасывается, и шофер неожиданно спокойно басит:

– Во лбу глаза, товарищ капитан.

– Во лбу? – удивляется капитан. – Разве они у тебя во лбу? В другом месте они у тебя! Давай вперед!

– Стой, – говорю я.

Ездовой придерживает коней. Катя соскакивает с передка.

– Товарищ капитан!

Капитан не слышит или не хочет слышать. Отступив на шаг, он снова кричит шоферу:

– Вперед и право руля! Еще, еще право!
Давай, давай!

– Капитан! В степи танки! Кому доложить?

Катя вплотную подступает к командиру. Я слезаю с повозки и на одной ноге тоже скачу к нему.

– Товарищ капитан! Там немецкие танки! – надеюсь я удивить его этим сообщением. Но капитан будто не слышит.

– Право, еще право! Так, так! – Он приседает, заглядывая под кузов машины.

«Студебеккер», урча, как рассерженный мамонт, начинает въезжать во двор.

– Что, танки? Много? – И сразу же к шоферу:
– Давай, давай! Прошло! – с облегчением объявляет он и будто впервые замечает рядом меня с Катей.

– Танки! Немецкие! Вы слышите? – кричит Катя. – Вот турнут, будет вам тогда «давай, давай».

– Что? – удивляется капитан, и осипший голос его снова становится сварливым. – А что вы на меня кричите? Что я – ИПТД²? Идите в арtpолк и докладывайте. Мне приказано, я ДОП³ разгружаю.

Он разгружает ДОП! Эта его неуязвимость

² Истребительно-противотанковый дивизион.

³ Дивизионный обменный пункт.

просто бесит. Я хочу разъяснить капитану, что нависло над его ДОПом, но Катя, меньше церемонясь в обращении, обрывает меня:

– Какой, к черту, ДОП! Вот стукнут по селу – будет тогда и ДОП и поп.

– Товарищ капитан!..

Катя машет рукой:

– Да ну его, младшой! Он чокнутый.

– Ага, чокнешься! Мне к двадцати четырем ноль-ноль надо шесть «студеров» разгрузить. Понимаете? Плевать мне на ваши танки.

– Ладно. Дурака кусок, – бросает Катя. – Давай дальше.

Она вскакивает в передок, я заваливаюсь в повозку. Ездовойогревает коней, и, объехав «студебеккер», мы мчимся по улице. А в селе так по-вечернему уютно и мирно, что мне даже становится страшно. С все возрастающей тревогой я предчувствую, чем может кончиться такая идиллия. Нет, во что бы то ни стало надо найти какой-нибудь штаб, пусть что-нибудь сделают.

В одном дворе, аккуратно «притертый» к стене, стоит «виллис». Возле него молча копаются двое – кажется, выгружают имущество. Где «виллис», там, конечно, начальство, и Катя, завидев машину, сразу останавливает повозку.

– Сиди, младшой, я сама.

Я остаюсь на подводе, а она бежит во двор и

что-то встревожено там объясняет. Вскоре все вместе они выходят на улицу.

– Вот младшой лейтенант наткнулся. Командира роты убило, – говорит девушка и умолкает, с надеждой поглядывая на впереди стоящего человека.

Я также всматриваюсь в него. Это – высокий, поверх шинели затянутый ремнями мужчина, на его плечах широкие с двойным просветом погоны. Других знаков не видно. Но он в ушанке, и я определяю: майор или подполковник.

– Вы где видели танки? – спокойно обращается он ко мне.

– В степи, товарищ подполковник. (На всякий случай беру с запасом, за это не обидится.) Километрах в трех отсюда. Штук двенадцать стоят стволами сюда.

– Вы думаете, это немецкие?

– Немецкие, – говорю я. – Нас обстреляли. Командира роты убили. Мы вот едва выскочили с пленным.

Подполковник молча оглядывает меня, затем немца, который в терпеливом ожидании стоит возле подводы, подрагивая от стужи.

– Так. Хорошо. Можете ехать, – помедлив, говорит командир.

Мало что понимая из этого разрешения, я спрашиваю:

– А куда пленного сдать?

– Пленного в Ивановку. Согласно распоряжению командующего, сборный пункт для военнопленных в Ивановке.

– Да тут все ранены, – говорит Катя. – Возьмите вы немца.

– Нет. Отправляйте в Ивановку, – спокойно, с непоколебимой твердостью говорит командир. – И попутно сообщите там о танках. Скажите, подполковник Волох послал, – неожиданно приказывает он.

Вот тебе и раз. Мы – им, а они – нам. Договорились! Получили приказ! Подполковник с тем, что в телогрейке, отходят к хате и закуривают. Мы стоим на месте и удивленно переглядываемся. Слышно, как тот, второй, тихо предлагает начальнику:

– Видно, надо смываться... Ну их к дьяволу, эти танки...

Я не слышу, что отвечает подполковник, скоро они вдвоем скрываются во дворе, и что-то во мне надрывается. Выдержка моя на том кончилась, и я готов ругаться – что же это делается? На повозке стонут раненые.

Катя вспыхивает:

– Тыловики проклятые! Концентратов отъелись – не прошибешь! Хоть караул кричи!

– Гони! – кричу я ездовому. – Гони дальше!

Я целиком во власти нетерпения. Черт с ними, поедем в Ивановку. Только где она, эта Ивановка? Легко ли ее найти ночью, и сколько на это понадобится времени? А тут еще два человека на подводе!.. И немец, что трусит сзади. И моя мокрая от крови нога, которая уже омертвела и дико болит от раны и мороза...

На повороте улицы мы чуть не сбиваем нескольких бойцов. Спасаясь от коней, они с руганью вскакивают на завалинку хаты. Один прижимается к плетню, и по новой цигейковой шапке на голове, а скорее по сумке на боку я узнаю в нем командира. Неожиданная надежда вспыхивает во мне. Я хочу остановить подводу, но он останавливает ее сам – в ярости хватает за уздечки коней и заворачивает их поперек улицы.

– Стой!

Голос его злой, властно-нетерпеливый, пожалуй, некстати такая встреча. А впрочем, к черту этикет, если в тылы прорвались танки! Но прежде чем я успеваю раскрыть рот, чтобы сообщить ему об этом, человек строго спрашивает:

– Кто такие?

– Да раненые! Не видите разве? Из батальона Шаронина, – отвечает Катя.

– Товарищ командир, – говорю я. – Надо как-нибудь передать в штаб, в разведотдел... Комдиву. В степи недалеко отсюда танки. Немецкая

засада.

Командир выслушивает это с мрачной затаенностью. Потом подходит к повозке, заглядывает в нее и, будто не слыша моих слов, тоном, исключаящим возражения, приказывает:

– Слезть всем!

– Да вы что? – вскакивает на передке Катя. – Вы что: тут тяжелораненные.

– Санинструктор, да? Ко мне, санинструктор! Вы, раненый, тоже! – не принимая во внимание ее слов, кивает он мне.

Откуда-то возле него появляется автоматчик, теперь их уже двое. Командир стоит в двух шагах от нас, грозный и неумолимый, как генерал. Я всматриваюсь в его плечи, стараясь определить воинское звание, но там ничего не поймешь. Вверху сияет месяц, и мне не видно лица командира, затененного шапкой. Но я чувствую, что лицо это не предвещает добра.

– Повторяю: санинструктор, вы – с забинтованной головой, повозочный и вы, – кивает он в сторону немца, – следуйте за мной.

Ничего не поделаешь. Тихо выругавшись, Катя первая соскакивает с передка, неохотно покидает свое место ездовой. Держась за края повозки, слезаю и я. Командир ступает вперед.

– Марш в помещение.

Я думаю, что это – не более чем

недоразумение. Куда он нас поведет, и что плохого мы ему сделали? И я хочу объяснить:

– Вы понимаете: танки. Мы спешили доложить. Через час-другой они могут быть тут.

Командир оглядывается:

– Попрошу помолчать. Пока вас не спрашивают.

– Ну пошли, подумаешь! – со злой решимостью говорит Катя и шагает во двор.

За ней идет ездовой, потом немец. Я, хватаясь за изгородь, на одной ноге прыгаю следом за ними. Возле повозки с двумя ранеными остается автоматчик.

Командир ведет всех через двор, затем в темные сени и открывает дверь в хату. На оконном косяке тускло горит коптилка, окна завешены каким-то тряпьем. Несколько малышей пугливо бросаются на печь, и вскоре из-за каминка появляются их любопытные личики.

– Прошу документы! – говорит начальник, подходя к коптилке, и оборачивается.

Я оглядываю его плечи – вот тебе и на. Всего лишь капитан, а держит себя, как генерал, не меньше. Столько напускной строгости!

– Пожалуйста! – с готовностью, но и с подспудным вызовом говорит Катя и лезет за пазуху.

Сдерживая в себе неуместный тут гнев, я

нащупываю под шинелью нагрудный карман и достаю удостоверение. Ездовой наш, довольно пожилой, с крестьянским лицом дядька, неторопливо распоясывается и долго копается в складках одежды, пока находит аккуратно завернутую в бумагу красноармейскую книжку. Минуту капитан молча изучает наши документы. На его чернявом лице непреклонная строгость службиста. Но вот наконец он поднимает лицо, обводит всех придирчивым взглядом и останавливается на четвертом – немце, который сутулится в полумраке у самого порога.

– А вы что?

– Это пленный, – говорю я. – На сборный пункт ведем. В Ивановку.

Я думаю, что он сразу прицепится ко мне и пленному, документов на которого у меня никаких нет, а его остались в батальоне. Видно, в том виноват я. Только кто предполагал, что мое конвоирование обернется таким образом! Но капитан, кажется, не намерен излишне придираться к пленному и складывает вместе наши документы.

– Где вы видели танки? – спрашивает он у меня, стоя под самой коптилкой.

– В кукурузе. Километра за три отсюда.

– Кому вы о том доложили?

– Кому тут доложишь! – запальчиво опережает меня Катя. – Тут у вас все как пыльным